



# ДЕНЬ ПОЭЗИИ

**ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ  
“ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ”  
ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ  
“ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ РОССИИ...”  
ИНДЕКС: 26260.  
ИНТЕРНЕТ: <http://zavtra.ru/>**

них святых колодезь. Слышишь, Медеялянский, сочини на этот счёт какое-нибудь стихотворчество, как то, про Михеево пристрастие получать еженедельно причастие.

16 января. Молодой поэт А. Воз. приходил читать свои стихи, умиленно целовал мои прекрасные руки в синих прожилках. Нет, всё же стоило дожить до старости, чтобы увидеть такие руки. Говорят, я молодо выгляжу, но это пустое, бред. Зима, белые муравьи смерти стучатся в моё окно ледяными пугаликами.

1 февраля. Приходил мёртвый Фадеев. Жаловался, что там плохо топят помещения и кормят отвратно. Отговаривал меня. Что ж, пока посижу. У меня тут хотя бы топят хорошо. Напоследок, уходя, Фадеев пьяно рывкнул мне, что я “космополитическая сволочь”.

11 февраля. Кажется, когда мы жили ещё в Окленде, Папаса подарил мне такой звонкий зелёный велосипедик. Я так выжиала от восторга, что мне не было дела даже до арбуза. Что-то этот велосипедик всё звенит и звенит у меня в ушах целый день.

17 февраля. Шолохов публикует какие-то главы, что-то такое “про Родину”. Варвара читает, а я злюсь. ...Родину-уродину!..

20 февраля. На самом деле никакой зарубежной жизни нет. Ведь сказал же Датский: “The rest is - silence”.

28 февраля. Читаю по-французски Бодлера и ничего не понимаю. Слишком много воды, фантазий, мало призывов к действию. Он совсем чуждается народных нужд. А когда-то мне нравилось. Медеяляша, помнишь, как мы с тобой сорились из-за...

2 марта. Какие-то сефироты... При чём тут сефироты?

5 марта. Какой милый мальчик Ев. Ев.! Полчаса сидел у моих колен, давая гладить себе вихры. А волчонок! Волчонок! Лижется, ластится, а носик принохивается к кровушке.

8 марта. Целый день у меня в гостях Руфа. Много смеялись с ней, когда она рассказывала про то, как укладывала своего медведя в пихушку. У неё, оказывается, давно всё кончено с Ашк., и теперь она закрутила крупный роман с немецким дипломатом. Побывала недавно в Ахене. Видела Минотаврика. Он сильно развился и совсем стал человеком”.

Помню, дочитав до этого места, я робко покосился на сторону Менша, а он, тотчас уловив мой взгляд, захихикал.

— Наферно, ви прочитаете про Минотафрик? — почему-то с особенным акцентом произнёс он. Должно быть, взволновался. Я кивнул и продолжал читать. Вскоре дошёл до записи, сделанной в тот самый день, когда я появился на свет. Там я прочёл нечто, что заставило меня ещё больше проронуться: “Шут гороховый написал про Чёрного человека. У меня видение куда страшнее — Белый человек. Белый человек на постель ко мне садится, Белый человек спать не даёт мне всю ночь. Он так смотрит на меня, будто все они где-то живы, в какой-то другой реальности, из которой смотрят на меня, и я перед ними — как голая”.

Дальше я стал читать жадно, всё ожидая, когда же снова появится про Белого человека. Мелькали имена и инициалы, продолжались унылые рассуждения о смерти, описывались поездки в Коктебель, Париж, Ниццу, Рим, причём путевые эти заметки велись наибанальнейшим образом. Можно было подумать, будто пишет глупенькая молодая барышня, впервые вырывающаяся за границу.

Затем пошли записи, относящиеся к 1960 году. Их было гораздо меньше, некоторые месяцы совсем пропущены. Вот что мне запомнилось:

“ (Из мартовских записей). Ненавижу весну. Головные боли всё сильнее мучают меня, я вдыхаю весенние запахи, а мне чудится, что вдыхаю чьи-то далёкие голоса. Кто-то злобно ругает меня, а кто-то ласково зовёт к себе.

(Из апрельских). Либо я умру в этом году, либо не умру никогда. Послезавтра исполняется девяносто лет Владимиру Ильичу, а он всё ещё живёт. Доживу ли я до его возраста? Его ведь тоже сильно беспокоили боли в головном мозге.

(Не то июнь, не то июль). По приезде в Коктебель меня ожидал жуткий скандал. Мерзавца О.Б. заняла мою комнату в Волош. доме и никак не хотела выселяться. Лишь к вечеру всё было улажено. И это при моей мигрени!

(Из того же периода). Сегодня впервые за несколько дней я долго смогла пробыть на пляже. Постоянно чувствовала присутствие Бел. Чел., как будто он стоит за спиной или вот-вот, как тогда, появится невзначай, подсядет и будет смотреть на меня своим невыносимым светлым взглядом. Никан не могу вспомнить, кто же он, на кого похож. Князь Ник. Пет. Ал.? Нет, не он. Гумилёв? Нет, того я всего лишь раз видела, да и то мельком, в отдалении... Терюся.

(Осень). В Греции мы с Руфой пробыли недолго. У меня случился удар, и вот лишь вторая неделя пошла, как меня выписали из больницы и привезли в Переделкино. Я многое видела, пока была там. Оно, кажется, всё-таки есть, хотя физиологи довольно логично объясняют всю нелепость домыслов в отношении так называемых видений людей, побывавших в состоянии клинической смерти. Тем более что у меня-то никакой клинической смерти не было. Жалею, что так и не доехала до Афин, ведь в последний раз я была там в 1939. Да, именно в тридцать девятом, когда я стала такой свободной, такой легковесной — Медеяляша был арестован, Папаса уехал в Юнайтед Стетс. За мной ухаживал один греческий актёр, никак не припомню его фамилию, и всё время вертится в голове “Напросидис”.

(Конец года). Недавно я вдруг поняла, что так до сих пор и не сподобилась прочитать “Войну и мир”. Очень смеялась этому открытию. Вот назло теперь не стану, так и уйду из этого мира, не прочитав “Войны и мира”. Надо держать марку. Теперь с кем ни встречусь, всем говорю: “А я не читала вашего Толстого и читать не буду”. Всех это шокирует. И это во вкусе Медеялянского. Шапиро, приходивший ко мне вчера, сказал: “Вы меня шокируете”. А я ему. “А вы меня шапируете”. Очень смеялись”.

Записи, относящиеся к началу 1961 года, были очень унылые — постоянные жалобы на болезнь, сильные головные боли, доводящие до умопомрачения. И вот весна. “1 апреля. Вечером был капустник. Смешной какой-то не то чукча, не то юкагир, которого Шапиро привёз с конференции литераторов северных народов из Комарова. Изображались всякие смешные сценки, а мне было невесело. Все время чувствую приближение какой-то чудовищной развязки, и всё мелькает кто-то перед глазами. Голоса разблеялась так, что отвели в постель чуть не в обмороке.

2 апреля. Белый человек. Белый человек на постель ко мне садится. Белый человек,

Белый человек, он меня не боится. Мерещатся и мерещатся такие дурацкие строки, так и мелькают перед глазами, кровавые. Почему-то никто не приходит. Парабола, парабола. Чьи это недавно стихи про параболу? Мне нет и семидесяти, я могла бы иметь любовников, как императрица Ливия, а меня словно что-то разрушает изнутри, и жизнь — то ли сон, то ли нечто ещё худшее.

12 апреля. Свершилось.

13 апреля. Вчера свершилось. Я всё вспомнила. Крым. Мы тогда упивались жизнью. А Медеяляша — шампанским. Мы сидели на пляже, когда подвели какого-то юношу в белом костюме, он болтал всякий вздор, впрочем, был забавен и даже любопытен. Почему-то так и не снимал своего белого костюма, будто боялся, что там под ним ничего нет — ни тела, ни живота, ни мускулов. И вдруг объявил, что первый космонавт Гагарин полетит в космос 12 апреля 1961 года. Я ещё тогда посмеялась: “Почему не Долгорукий или не Голицын? Почему Гагарин?”.

Или даже не успела так пошутить, а только подумала. Он мне тогда стал неинтересен. Он стал дерзить и сказал, что я кончусь с собой в глубокой старости. Потом я, кажется, ушла купаться, а когда вернулась, его уже и след простыл. И вот вчера — свершилось. Таки да, полетел Гагарин, и таки да — 12 апреля 1961 года. Не наврал мой Белый человек. И представит только, как раз сегодня ко мне приходили Регина, Миша и Леопольд, и заговорили о Чёрном человеке, про которого писал Есенин. Оказывается, этого чёрного шут гороховый не сам придумал, а украл его из пьесы Пушкина “Мощарт и Сальери”. А ведь я, дерзкая, и Пушкина вашего почти не читала, хи-хи-к! Когда они ушли, я нашла у себя в библиотеке эту штуку и прочитала. Там есть такие строки, что и днём и ночью к Мощарту приходит Чёрный человек. Ему мерещится, будто он и сейчас сидит в качестве третьего за одним столом с ними. Я тоже чувствую его присутствие, только он у меня белый, а это ещё страшнее. Даже мои головные боли вдруг отступили со вчерашнего дня, будто испугались чего-то более кошмарного, чем они сами. Неужели сумасшедший дом?”.

Прочитав эту запись в дневнике Ариадны Бронц, я, естественно, почувствовал то, что называется “волосы дыбом”. Руки мои стали будто не мои, и я едва не вырвал из рук тетрадку, когда торопливо стал листать её с конца, чтобы заглянуть, какими датами кончается сей манускрипт. К моему разочарованию, последней датой в дневнике был какой-то из последних дней февраля 1966 года, когда Ариадна Львовна находилась в Варшаве на конференции писателей социалистического лагеря.

— А другие?.. Есть ли у вас другие дневники Ариадны Львовны? — спросил я Менша взволнованным голосом.

Других у него не было, только этот. Все остальные она сожгла незадолго до смерти, а этот чудом уцелел.

— Но ви читаете, читайте, там есть ещё про Минотаврику, — посоветовал мне хозяин дома. Разумеется, ему хотелось, чтобы я прочёл про Минотаврика. Я стал читать дальше, и там действительно ещё пару раз говорилось о Минотаврике, но я жадно искал про другое. Меня уже не волновали записи, касающиеся быта писателей, не волновали подробности поездок Ариадны Бронц по странам Европы и её новых знакомств. Я искал упоминаний о “Белом человеке”. Их всё не было и не было. Каким-то чудесным образом головные боли оставили Ядохчу. Мало того, она словно помолодела после полёта Гагарина в космос. В 1962 году у неё даже был роман с каким-то сорокалетним прохвостом, который явно подкапывался под сокровища библиотеки Медеялянских-Бронц и заодно делал себе карьеру в литературном мире. Теперь имя этого ничтожества почти полностью забыто, а тогда, с подачи Ариадны Львовны, он даже пару раз печатался в “Новом мире”. Я ужасно утомился, читая исписанный мельчайшим почерком дневник, к тому же время меня поджимало, и записи 63, 64 и 65-го годов я прочитал как в тумане, ожидая лишь, когда же взгляд мой нарвётся на упоминание о “Белом человеке”, и лишь однажды это случилось, когда я добрал до 26 декабря 1965 года:

“Сегодня мне исполнилось 66 лет. Две жуткие шестёрки. Я снова одна. Лишь эти две шестёрки стоят у меня по бокам, как часовые, чтобы я никуда не сбежала, идя по этапу в свой роковой год. А ведь он предсказан мне. Им. Неужели и это случится? Мне кажется, я не доживу... Снова начались головные боли, как тогда, накануне полёта Гагарина, этой бедненькой подопытной собачки. Ненавижу собак. Бедный Медеяляша, ты почему-то считал, что я должна любить жизнь. Сам ты был жизнью. За всё время, с тех пор, как тебя прикончили, ты ни разу не являлся мне во сне. Почему?..”.

Не помню, как я добрался до гостиницы. Войдя в номер, рухнул, не раздеваясь, в кровать. Меня разбудил приехавший Штайнгер, и мне, можно сказать, силнось, как мы ездим с ним по Голландии, пьём пиво “Риддер” в Маастрихте, потом посещаем американское кладбище в Бельгийских Арденнах... Или нет, сначала была Бельгия, а потом Голландия. Да, точно, в Арденнах ещё лежал туман, белый, молочный, сонный, и было ябько, а в Маастрихте засверкало солнышко, стало тепло и можно было расстегнуть плащ, снять шарф. Но это был сон, и ноги у меня постоянно подкашивались, и хотелось упасть и провалиться из этой сонной яви в спасительное небытие. Правда, на обратном пути я даже разошёлся: рассказывал что-то смешное, Штайнгер смеялся, и мне было хорошо, потому что я знал — отныне никогда больше не буду копаться в чёрных лабиринтах недавнего прошлого, где ненароком можно повстречать если не Минотавра, то хотя бы Мино-таврика.

Этим летом мы с женой часто ездили на дачу к одному нашим друзьям. Однажды сидели, ели шашлык, пили “Мукузани”, и я подробно рассказал всю эту историю. Всем сделалось жутковато. А я — будто не про меня всё это. Будто не я своим сном вторгся в прошлую реальность Ариадны Бронц и будто не я заставил её дожить до восьмидесяти трёх лет, чтобы именно в этом возрасте встретиться со своим Аввадошей. Я быстро сменил тему разговора, а ещё через какое-то время мы уже вовсю распевали, и почему-то с особенным чувством, ту самую, что так волновала меня в Германии, — про “красивую и хорошую”.

Ещё не скоро молодость  
Да с нами распространяется.  
Люби, покада любится,  
Встречай, пока встречается...



Владимир БЕРЯЗЕВ

\* \* \*  
Ах, дорогие мои,  
в Краснокаменске очень морозно.  
Даже в урановых шахтах  
эзков не греет ватин,  
Полдень над степью висит  
луче-пламенно и купоросно,  
И на добычу свободы  
в России введён карантин.

Тот, кто вольготно охотился  
по землям колониальным,  
О родине думает с чувством  
собственной неправоты:  
Тело орла двуглавого  
в крематории ирреальном  
Он воскресить собирается  
из пепла и пустоты.

Делитесь! Любите ближних!  
Их — 90 процентов!  
Они тоже имеют душу  
и любят своих детей!  
Вы были несправедливы —  
оплодотворите плаценту  
Земли, вас родившей,  
и снимется проклятие крови сей.

Поверьте, поверьте, поверьте  
в то, что вы плоть от плоти  
Оби, Енисея, Аргуни,  
не воздуха — а земли.  
А после вместе подумаем  
о Родине и свободе,  
О том — куда нас юридивые  
с поэтами завели.

\* \* \*  
Дом вжимался в снега плечами —  
накачали ветра печали!  
На сто верст вокруг, бедокура,  
потешаясь, гуляла буря.  
Снежной тяжестью хмари серой  
прищемлённая атмосфера  
В хриплом свисте изнемогала...  
Лампа сникла. Свеча мигала.

Степь, простишь белое тело,  
своязником вселенским гудела.  
И дымцы загоняло в трубы.

И протяжно хлопали струны  
Проводов... И с дорог сметало  
пешеходов, как мух в сметану.  
Всё — крошечность!  
Не только добрый,  
никакой хозяин из дому  
Не посмел бы собаку выгнать.  
Звери прятались. Трубы выли.

Буря правила миром сумрачным.  
Вне стихии был только один —  
Лишь младенец спал  
круглосуточно,  
жадно чмокая близ груди...

\* \* \*  
Чтобы не падала  
властная функция.  
Ты пирамиду народной любви

Сооруди по завету Конфуция,  
Зижди добро,  
словно храм на крови.

Муж благородный  
о матери-Родине  
Думает даже на горной лыжне.  
Всё, что расхищено,  
предано, продано,  
Экспроприируем  
здесь и вовне!

Вырвем траву,  
что не знает цветения,  
Срежем цветы,  
что плодов не дают.

## И ГОРИЗОНТ НЕОХВАТЕН И РДЯН...

Труд от неведенья до обретения,  
Ох, не по-детски опасен и крут.

Вычистим поле апокалиптически,  
Нам оборона важнее бабла!  
Лишь бы жила,  
как всегда героически,  
Матушка-Русь, и — была не была!

**О ПОЛЬЗЕ ВЕРЕВКИ**  
Наш главному —  
Ермолов... или Трошев?...  
Чтобы сбить насилия накал,  
Чтоб с кинжалом жить —  
себе дороже,  
Бандюганов вешать предлагал.  
Выглянешь в окно —  
полюбоваться

Улицей на утренней заре:  
Мир и лад, покой и счастье,  
братцы,

И — абрек на каждом фонаре.  
И без коняка захорошеет...  
Вот вам справедливости пример!  
Жёсткий галстук

на небритой шее —  
Признак старых  
правильных манер.  
Лжевикторианская эпоха!  
Пуритане, трости, котелки.  
Вешать — плохо.

И не вешать — плохо.  
А судить — так вовсе не с рухи.  
Только Пушкин из далёкой дали  
Упрекает нас в который раз:  
"Вместо мёртвых букв

свинца и стали,  
Слово жизни шлите на Кавказ".

\* \* \*  
*Беда стране, где раб и льстец  
Одни приближены к престолу,  
А небом избранный певец  
Молчит, потупя очи долу.*  
А.П.

О чём судачили вы,  
славные витии?  
Ужель о новостях педерастии?  
Что так тревожит вас?  
Тусовщики ОГИ?

Иль гонорары  
европейских графоманов?  
Иль содержимое  
чиновничьих карманов?

Друзья Кенжеева?  
Лимонова враги?  
Оно достойно для поэта  
Лужкову жалобу писать  
И всех евреев полусвета  
За их зады перекусать.

Кто устоит в неравном споре —  
Кичливый росс иль Вечный Жид?  
Иль дацзебаа на заборе  
Оставит сломяленный пиит?  
Кого куда не пригласили  
С его талантом и умом?

Пророк и царь, певец России  
Не властен лишь в себе самом.  
Коль чешется — в парной чешите!  
Но как не вспомнить ко стыду:  
"Ах, Зинаида, не пишите,  
Когда душа кипит в аду".

Финита облик морале...  
Но всё же где-нибудь да есть —  
За что поэты умирали —  
Любовь и Родина, и честь.  
Беда, коль у Кремля в подножье  
И льстец, и раб, и жлоб, и вор...  
А сам носитель дара Божья,  
Скулит, уставясь в монитор.

## ВЕРБЛЮЖОНОК. МОГИЛА ЧИНГИСХАНА

— I —  
Верблюжонок  
в жертву принесённый,  
Где Чингиса было погребенье...  
Ровным-ровный

стол Великой Степи  
Вскрыт по кругу.  
И пластины дёрна  
Выложены периметр. А яму  
Триста шестидесят рабов копали  
Под присмотром пятерых нукеров.  
Пожелавших проводить владыку.

И как только  
в лиственничном срубе  
Упокоен был державный Тэнгрий,  
Всех копавших положили рядом,  
А нукеры сами сотворили  
Жертвенный обряд,  
пронзя клинками  
Верные сердца...  
Прости, владыка!

Скаунов небесные квадриги  
Стали обочь ложа. Умоостили  
Каменную крышей погребенье.  
И дерниной почву заровняли...

— II —  
Но! чтобы чрез год  
свершить поминки,  
У седы верблюдцы отъяли  
Млечного беднягу-верблюжонка...

Его кровью тризну окропили  
От краёв до самой сердцевины.  
Слушай, мать-верблюдница,  
рыдая

Твоего младенца, плач и стоны,  
Смертный хрип  
и жизни истечение  
В почву, в погребальный мрак...  
Былинки,

Корешки, крупички  
тёмной скорбью  
Напитались. Никакой приметы  
Праха Сотрясателя Вселенной  
Не осталось: степь да степь,  
Пространство,  
Окоём обнялся с окоёмом,  
Только поле от конца до края,  
В коем Хан до капли растворился!  
Только поле...  
И когда нукеры  
Через год сюда приковывали  
В месяц лани —  
август сокровенный

В облаках роскоествовал, лето  
Плавилось и плыло по наклонной  
И ничто не ведало в каком же  
Месте погребён Владыка Мира.  
Но... в большое Поле  
верблюдцы

Выпустили! Мать, что о младенце  
Помнила весь год, о нём —  
невинном,

Закланном...  
Пошла, пошла по кругу,  
Плача и сужая причитанья,  
И ступила в точку невозврата,  
И узнала место, и, рыдая,  
Излилась, и пала на колени...

Всякий о морали помышлявший.  
Мысль оставь  
об истине расхожей:  
Лишь в миру —  
невинного закланье,  
Только мать, скорбящая о сыне...

## ПРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ КРАСНОГО МЕСЯЦА

Всё в поездах  
моё солнышко-пелюшко,  
Катимся, катимся — не устоять.  
Сквозь погорельщину,  
Ванька-Емелюшка,  
Сладкой, как водочка,  
жизни поять.

Тёмное месиво...  
Светлое крошево...  
Лермонтов с тучки  
глядят на меня.  
Много хорошего. Мало хорошего.  
Ще и лядистее день ото дня.

Эко хватил! Почему не покаяться?  
Каюсь, родимые, каюсь во всем.  
Тарскую степью,  
Барабинской, Каинской  
Еду в заросший крапивою дом.

Осень такая,  
что хочется выстрелить,  
Чтобы за эхом осыпался лист...  
— Истина там,  
где отрезана истина, —  
Молвил безногий,  
как хмель, баянист.

Лесоповальные, скотопригонные  
Лиси родные Марусь-Магдалли  
Вновь уплывают  
в оклады оконные,  
В дождь и безденежье  
руССких долин.

Поле, пространство,  
полёт и безмолвие —  
Даль, словно хлеб,  
не пресытит вовек.  
Вновь с мукомолия  
на богомолие,  
В преображающей родину Снег.

Сны роковые  
в душе не поместятся,  
Но сохраняться в небесном краю.  
Пред наступлением  
красного месяца  
Простоволосый и тихий стою.

Скажешь ли правду мне,  
Ванька-Емелюшка,  
В час, когда будешь  
не пьян, а блажен:  
Сколькох припала  
льняная постелюшка  
Ширь-белизною  
в миллионы сажен.

Боже, простишь ли нам  
неразумение  
Или рассеешь как израильтян?..  
Стики вагонные.  
Гужи ремённые.  
И горизонт неохватен и рдян.

## НЕПРАВИЛЬНАЯ МОЛИТВА

Всевышний, Боже всемогущий,  
Перед Тобой всё пыль и прах,  
И в райскиепускаешь кущи  
И воплоцаешь Божий страх.

Мой Бог, не шли мне искупленья  
Грехов на жизненном пути,  
Оставь мне все мои сомненья,  
А от всезнания огради.

И не снимай с меня усталость —  
Найду я время отдохнуть,  
Лишь самую воздай мне малость:  
Быть нужным хоть кому-нибудь.

Я не прошу Твоей награды,  
Другого в райский сад зови,  
Тебе любить меня не надо —  
Мне самому пошла любви.

Ты видишь, я прошу немного,  
Не посягнув на благодать,  
Дай мне, не верящему в бога,  
К Тебе дорогу отыскать...

## ЗИМНЯЯ ВСТРЕЧА

Дороги вьюга задела,  
Кругом мир бледен и простужен,  
Нигде мне не найти тепла,  
Весь город погрузился в стужу.

Бездомный мокрый старый пёс  
Навстречу мне пришёл из ночи,  
Обвисла шерсть, повешен нос,  
Никто пригреть его не хочет.

Какой немый ты, дружок,  
Как всё вокруг тебе постыло,  
Как жалок, грустен, одинок,  
Как по тебе скучает мыло.

С опаской смотришь на меня,  
Оскислился, но осторожен.  
А мы с тобой — почти родня,  
Как сёстры, судьбы наши схожи.

Я, как и ты, сморю сквозь тьму  
На мокрые дома и стены,  
Как ты, я тоже никому  
Не нужен больше во вселенной.

Как ты, один своим путём  
Бреду по жизни неумело,  
И одиночество вдвоём  
Мечтаний видится пределом.

Пойдём со мной, случайный друг.  
Невзгод слепа я вереница,  
Что обложила все вокруг,  
Не очень нам с тобой годится.

Туда, где нам пробьют часы  
Конец холодного неастья,  
Где ждёт тебя круг колбасы,  
Собачьего простого счастья.

Зайдём в мой одинокий дом,  
Ты у двери неслышно ляжешь.  
Пусть вьюга бьётся за окном,  
Её мы не заметим даже.

И чтобы разогнать тоску,  
Свой день холодный вспоминая,  
Плесну я в склянку коньяку  
Или стакан наполню чаем,

И затоплю в углу камин,  
Другого в райский сад зови,  
И снова в мире я один.  
Нет, не один. Теперь нас двое...

## БЕЗ ПРАВИЛ

Я жалок, немощен и слаб,  
Убог мой мир и скуден скарб,  
Ступил плечи.  
Но счастье вдруг нашёл своё,  
И вывел меня чутьё  
Ему навстречу.

Он был плечист, речист, красив,  
Его стальной речитатив

## Ты видишь, я прошу немного...

Владимир ЦИНИКЕР

Мне падал в уши.  
В его глазах сверкала страсть,  
Способность он имел и власть  
Преграды рушить?

Его суровый баритон  
Поведал мне, что в жизни он  
На силу ставил,  
Что не страшится ничего,  
Что чёрный пояс у него  
В боях без правил.

Он рассказал: "Я был как ты,  
Я был на грани нищеты,  
Одним из многих.  
Но кто сомнения не знал,  
Кто бьёт, сражая наповал, —  
Тех любят боги.

И я поднялся над толпой,  
Порядок свой и голос свой  
Над ней поставил.  
Других, кто этот пьедестал  
Занять желал, я поломал  
В боях без правил.

И вот теперь нет равных мне,  
Во власти, в силе и в вине  
Жизнь протекает,  
А если кто-то не любя  
Вдруг взглянет,  
тот пусть на себя  
Потом пеняет.

Куда хочу, туда лечу,  
За что угодно заплачу,  
что надо — скрою.  
Всё, что хотел, исполнить смог,  
За бороду ухвачен